

ОН УБИВАЛ ТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫХ

АНИ ЕГАНЯН

Ани Еганян

Он убивал только счастливых

«Автор»

2026

Еганян А.

Он убивал только счастливых / А. Еганян — «Автор», 2026

В Вене начинают происходить загадочные убийства. Жертв объединяет одно странное обстоятельство: незадолго до смерти каждый из них пережил самый счастливый момент своей жизни. Кто-то наконец обрёл любовь. Кто-то получил долгожданное прощение. Кто-то поверил, что впереди его ждёт новая жизнь. А потом пришёл убийца. Криминальный психолог Леонард Вайс уверен: преступник ненавидит чужое счастье. Но чем глубже он погружается в расследование, тем больше понимает — все дороги ведут к трагедии, случившейся семнадцать лет назад. К трагедии, о которой слишком многие предпочли забыть. Теперь прошлое возвращается за каждым, кто однажды промолчал. И Леонард ещё не знает, что самое страшное открытие ждёт его не в материалах дела, а в собственной памяти. Он убивал только счастливых. Но никто не понимал, за что.

© Еганян А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Дверь	6
Глава 1. Улыбка на снимке	8
Глава 2. День после праздника	11
Глава 3. Шесть пропущенных звонков	14
Глава 4. Вторая жизнь Ханны	16
Глава 5. Профессиональный портрет	18
Глава 6. Дом, который закрыли	20
Глава 7. Человек с реставрационной мастерской	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Ани Еганян

Он убивал только счастливых

ОН УБИВАЛ

ТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫХ

Ани Еганян

Психологический криминальный триллер

Пролог. Дверь

Вечером девятнадцатого ноября 2010 года Томас Новак впервые услышал, как дверь плачет.

Не скрипит. Не хлопает от сквозняка. Именно плачет: длинный металлический звук тянулся от самой ручки до нижней петли, будто кто-то с другой стороны пытался остановить то, что уже началось.

Ему было двенадцать. Позже взрослые будут повторять это число, как диагноз. Двенадцать: возраст, в котором можно перепутать голос и шаги, страх и правду, сон и дым. Томасу хотелось бы, чтобы они оказались правы. Тогда и всё остальное можно было бы назвать дурным сном.

Пахло жжёным маслом. Внизу кто-то кричал, наверху играла музыка. В «Розенхофе» всегда говорили, что музыка помогает детям не бояться темноты. В тот вечер она мешала взрослым слышать крик.

— Лена! — позвал он.

Сестра отозвалась сразу, совсем близко:

— Я здесь. Не уходи.

Между ними была дверь со стеклянным квадратом, мутным от копоти. Томас видел в нём слабое оранжевое сияние и тень маленькой ладони. Дверь должна была открываться наружу. Он нажал на ручку, потом дёрнул изо всех сил. Ничего.

Из коридора донёсся чужой голос. Взрослый, раздражённый:

— Кто здесь? Почему вы ещё не вышли?

Томас обернулся. Мужчина в тёмном пиджаке спешил к лестнице. На манжете рубашки блестело что-то маленькое серебряное. Томас не разглядел рисунок. Только блеск — короткую вспышку света в сером воздухе.

— Откройте! — закричал он. — Там моя сестра!

Мужчина остановился. Посмотрел на дверь и не сразу на мальчика. Именно это Томас запомнил лучше всего: незнакомец уже знал, какую дверь ему показывают.

Мужчина показался Томасу знакомым, хотя в этом дыму все лица имели одну и ту же странную неподвижность. Он видел его днём, когда в столовую привезли серебряные приборы и цветы. Мужчина присел перед младшими ребятами и сказал, что сегодня взрослые будут принимать важных гостей, а им лучше не шуметь. Лена спросила, можно ли посмотреть на скрипачку, которая репетировала в большом зале. Мужчина улыбнулся, но посмотрел не на неё, а на воспитательницу. «Сегодня у нас особые правила», — сказал он.

Особых правил в центре всегда было слишком много. Нельзя бегать по лестнице. Нельзя трогать ножницы без спроса. Нельзя входить в комнату, если на двери висит красная карточка. Томас соблюдал их, когда это было легко, и нарушал, когда никто не видел. Но запертый проход был другим: от него не требовалось послушания. Он не давал выбора.

Он вспомнил, как прошлым летом отец научил его открывать заедающий шкаф. Якуб не любил ломать вещи и всегда повторял: прежде чем тянуть, посмотри, что удерживает. Томас попробовал и сейчас — ощупал край, поискал скрытую защёлку. Пальцы скользили по нагретому металлу. За дверью Лена кашляла. «Считай до десяти», — сказал он ей, чтобы она меньше боялась. Девочка послушно произнесла «один», потом «два». До десяти они не дошли.

Когда взрослый отступил в тень, Томас успел подумать, что он идёт за ключом. Эта мысль подарила ему несколько бесценных секунд надежды. Потом стало понятно, что человек уходит не за ключом, а от двери. Уже тогда мальчик увидел разницу между тем, кто не знает, как помочь, и тем, кто знает, но не хочет задерживаться.

— Спускайся, — сказал он. — Сейчас придут пожарные.

— Там Лена!

— Я слышал.

Он положил руку Томасу на плечо. Рука была влажная и пахла незнакомым сладковатым ароматом. Томас вырвался. Мужчина наклонился к ручке, сделал что-то у дверной коробки, заслонив мальчику обзор, и отступил.

— Не трогай, — произнёс он теперь тихо. — Ты не понимаешь, что делаешь.

И ушёл.

Томас снова толкнул дверь. Сестра больше не отвечала, но он слышал её дыхание. Или это было уже дыхание дома, наполненного дымом.

Позже его найдут на лестнице с ожогом на запястье. Позже пожарный спросит, сколько людей оставалось в коридоре. Позже следователь покажет фотографии, на которых многие взрослые улыбались, поднимая бокалы в честь новой благотворительной программы.

Ещё позже человек в светлом кабинете будет осторожно задавать вопросы. Он принесёт Томасу воду, назовёт его храбрым мальчиком и предложит вспомнить всё сначала. При третьем повторении мальчик устанет и скажет, что, наверное, не уверен насчёт серебряной вещи на манжете.

Человек кивнёт, словно наконец услышал нужный ответ.

На протяжении шестнадцати лет Томас будет пытаться вспомнить не лицо мужчины, а другое: в какой именно момент взрослые решили, что он врёт.

Ответ обнаружится совсем не там, где он привык искать. В тот вечер на втором этаже никто не говорил: «Пусть дети умрут». Никто не ждал пожара. Люди обсуждали вино, премии, пожертвования, фотографии для газет.

Один человек просто распорядился запереть дверь.

И потом оказалось легче объяснить пять смертей чужой ошибкой, чем одну собственную команду.

Глава 1. Улыбка на снимке

Филипп Крамер не помнил, когда в последний раз так долго выбирал рубашку.

Он примерил белую, потом голубую, затем опять белую. Обе выглядели на нём одинаково — как чужая попытка придать важность обыденному вечеру. На кровати лежал телефон. Экран погасал каждые несколько минут, и он включал его снова, чтобы убедиться: сообщение не исчезло.

«В семь. Только не опаздывай». Это написала Эмма.

Семь лет она не называла его папой. Сперва были короткие поздравления с праздниками, потом официальные ответы на письма, затем тишина. Он всё это время находил её адреса, узнавал новости через общих знакомых и ни разу не решился постучать к ней без приглашения. В этом проявлялась его осторожность. Эмма назвала бы это трусостью.

Кафе находилось за углом от музея, в который они однажды ходили вместе, когда ей было одиннадцать. Она выбрала столик не у окна, а в глубине зала. Увидев его, не встала.

— Привет, — сказал Филипп.

— Привет.

— Ты почти не изменилась.

Она посмотрела на него так, что он сразу понял нелепость фразы.

— Ты не видел меня семь лет.

Он сел и долго расправлял салфетку. Официант принёс воду. На соседнем столе спорили о том, какой поезд быстрее идёт до Зальцбурга. Странно было слышать настолько обычные разговоры, когда собственная жизнь казалась тонкой стенкой между двумя комнатами.

— Я хотел извиниться, — начал он.

— Ты много раз писал это в письмах.

— Да. Но каждый раз добавлял «если я тебя обидел».

Эмма медленно положила телефон экраном вниз.

— И сейчас добавишь?

— Нет.

Она ждала. Филипп уже подготовил объяснения: работу, болезнь её матери, фонд, обязанности. Годами он говорил о себе как о человеке, которому просто не оставляли выбора. Сегодня он неожиданно понял, что перечисление обстоятельств снова будет способом не про- изнести главного.

— Я оставил тебя одну, — сказал он. — Мама болела. Ты просила приехать, а я обещал и не приезжал. И я не имею права рассказывать, что у меня были причины. Ты прожила тогда то, что прожила. Я не могу изменить этого.

Эмма смотрела на воду в стакане. На лице не появилось облегчения.

— Зачем ты сейчас пришёл?

До встречи Филипп заехал к дому, в котором когда-то жила Эмма с матерью. Дом успели перекрасить, а на первом этаже открыли студию йоги. На балконе, где маленькая Эмма выращивала землянику, стоял детский велосипед. Он долго смотрел на него из машины и пытался определить момент, после которого его жизнь стала последовательностью удобных решений, принятых слишком быстро.

Когда жена Анна узнала о его романе, Филипп согласился, что виноват, и предложил деньги. Ему казалось, что деньги — это взрослая форма извинения, надёжнее слов. Анна ответила, что не собирается продавать ему право отсутствовать. Позже, когда она заболела, он оплатил лучшую клинику и снова счёл своё участие достаточным. Эмма не сказала ему о смерти матери сразу. Он узнал от адвоката через три дня. Тогда ему впервые пришло в голову, что можно разрушить отношения, ничего не делая в самый нужный момент.

Инга Ройтер позвонила ему летом и назвала детский центр, о котором он предпочёл забыть. Сначала он решил, что старуха требует денег. Когда пришли бумаги, он три вечера держал их на столе нераспечатанными. Потом увидел фамилии детей, смерти которых когда-то называл трагическим несчастным случаем. Он помнил свои выступления на сборах пожертвований: «Наша ответственность — дать детям будущее». Будущего у пятерых не было. Зато у фонда были отчёты, красивые фотографии и новые доноры, среди которых Филипп годами числился почётным спонсором.

Он мог отдать документы адвокату и больше никогда не касаться их. Так поступил бы прежний Филипп. Но на обороте письма Инги было написано: «Попробуйте хотя бы назвать правду человеку, которого любите». Возможно, Инга имела в виду журналистов или прокурора, но он подумал об Эмме. Она заслуживала знать не только о его измене и трусости. Она заслуживала услышать, что её отец причастен к чему-то гораздо более тяжёлому. Никакие деньги не могли смягчить эту фразу. Поэтому он надел белую рубашку и отправился на встречу без привычного делового портфеля.

Потому что три дня назад кто-то прислал ему письмо. Потому что в конверте лежала копия листа с подписями, который он много лет считал уничтоженным. Потому что прежняя жизнь вдруг перестала помещаться в него вместе с новым знанием: человек, признанный виновным, умер в тюрьме, а ложь продолжала работать вместо живых людей.

Всё это он мог сказать. Но начал с другого:

— Потому что я боялся, что если расскажу правду, ты больше не захочешь меня видеть. А ты уже не хочешь. И, кажется, мне больше нечего терять.

— Это не очень щедро с твоей стороны.

— Знаю.

Он впервые не спорил. От этого разговор стал похож на шаг по лестнице, ступеней которой не видно.

Эмма сделала несколько глотков кофе. Потом спросила про сад, который они когда-то собирались посадить возле загородного дома. Филипп даже не сразу понял, что она сказала. Они говорили ещё сорок минут. Не обнимались. Не плакали. Уходя, Эмма вдруг коснулась его плеча и произнесла:

— Завтра можешь позвонить. Только не делай вид, что всё уже хорошо.

Выйдя на улицу, Филипп остановился у витрины закрытого магазина. Отражение показывало пожилого мужчину с усталым лицом и совершенно нелепой улыбкой. Он не стал её прятать.

Телефон завибрировал снова. На экране появилось сообщение, которое Филипп впервые увидел ещё в кафе.

«Господин Крамер, вы просили возможности спокойно обсудить документы Инги Ройтер. Сегодня, в 22:15, я буду в вашем офисе. Не привлекайте пока посторонних: речь касается живых воспитанников фонда. М. Б.»

Филипп прочёл его дважды. Инициалы были знакомы. Он переслал сообщение себе на рабочую почту — старая привычка человека, который дорожил документами, пока не понял, что именно документы однажды его разоблачат.

Затем набрал ответ: «Приеду. Но больше ничего скрывать не стану».

До офиса можно было дойти за двадцать минут. Он пошёл пешком, не обращая внимания на начинавшийся дождь. В кармане лежал распечатанный лист с несколькими строчками признания; он надеялся, что утром покажет его дочери.

На площади светофор долго не менял цвет. Филипп поймал себя на том, что улыбается людям, спешившим через дорогу. Кто-то ответил ему улыбкой. Такая мелочь внезапно оказалась ему подарком.

Последняя достоверно установленная запись с камеры наблюдения показала, как он проходит под аркой делового здания в 22:13. Его правая рука была пуста; в левой он держал сложенный зонт. Человека, открывшего ему дверь через боковой вход, объектив не захватил.

Наутро уборщица нашла Филиппа на полу его кабинета. Вокруг лежали документы. На письменном столе стояли два стакана с водой — один почти полный, второй пустой.

И в папке, которую он принёс с собой, не оказалось страницы с признанием.

Официант в кафе заметил, что Филипп весь вечер держал телефон экраном вниз. Когда Эмма вышла вымыть руки, он поднял аппарат и прочитал короткое сообщение. Официант не видел текста, но увидел, как мужчина выпрямился, словно услышал команду. Он убрал телефон в карман так быстро, что задел бокал. Капля вина упала на белую скатерть. Филипп прикрыл пятно салфеткой, а когда дочь вернулась, улыбался и пытался поддерживать разговор. Потом попросил счёт раньше, чем они закончили десерт.

Через три дня официант рассказал об этом Еве. Сам он не считал эпизод важным, но после смерти узнала лицо посетителя по фотографии. Ева попросила уточнить не содержание сообщения, а последовательность движений. Видеозаписи зала сохранили лишь фрагмент: мужчина действительно достал телефон и затем почти сразу завершил ужин. Этот обычный жест впоследствии помог установить окно времени, когда с ним связались из фонда.

Эмма, услышав рассказ, ощутила злость. Она решила, что отец снова поставил деловую встречу выше неё. Потом вспомнила, как он в тот вечер впервые не прервал её рассказ о работе и настоял, чтобы она заказала десерт. Вероятно, разговор был для него важен. Он просто ещё не умел жить без страха перед тем, что ждёт за дверью. Эмма больше не хотела сочинять ему оправдания, но и быть несправедливой не хотела. Именно это оказалось труднее всего после смерти: позволить человеку оставаться сложным, когда он уже не сможет возразить.

К полудню пресса ещё не знала, что смерть Филиппа связана с преступлением. Эмма сидела дома возле телефона и перечитывала короткое сообщение, полученное вчера поздно вечером.

«Спасибо, что пришла. Сегодня я впервые за много лет счастлив».

Она не знала, что эти слова сделают из её отца заголовок. И уж тем более не знала, как сильно этот заголовок помешает найти человека, который его убил.

Глава 2. День после праздника

Ева Фельд не любила, когда ей рассказывали, каким был погибший.

Мёртвые почти всегда оказывались хорошими людьми. Если верить родственникам, они любили детей, никогда не повышали голос, помогали соседям и собирались в ближайший понедельник начать новую жизнь. Иногда всё это бывало правдой. Но гораздо чаще люди говорили то, чего не успели сказать при жизни.

— Он был счастлив, — повторила Эмма Крамер.

Ева сделала пометку в блокноте.

— Расскажите, что именно вы имеете в виду.

— Мы наконец поговорили. Это звучит глупо? Из-за меня отец погиб, потому что я...

— Никаких оснований связывать ваш ужин с его смертью сейчас нет, — перебила Ева.

— Вы сообщили важный факт. Этого достаточно.

Они разговаривали в маленькой комнате полицейского управления. На стене висели часы без секундной стрелки. Эмма всё время смотрела на циферблат, будто могла обнаружить в нём вчерашние двадцать четыре часа.

— Он сказал, что хочет в чём-то признаться?

— Да. Я подумала — про деньги, про маму. Я не стала спрашивать.

— Почему?

— Потому что впервые в жизни он не требовал немедленно его простить. Я хотела дать ему время.

Ева закрыла блокнот. В такие минуты ей становилось мучительно ясно, почему полицейским не следует обещать родственникам, что всё будет хорошо. Хорошо уже не будет. Можно только узнать, что произошло.

В кабинете её ждал Леонард Вайс. Он сидел у окна, придерживая пальцем уголок распечатанной фотографии, и смотрел на лицо Филиппа Крамера, словно пытался расслышать то, что осталось за кадром.

— Вы нашли что-нибудь? — спросила Ева.

— У него выражение человека, который перестал защищаться.

— Я спросила не об этом.

Леонард поднял глаза. Он был сухошав, аккуратен, с привычкой чуть наклонять голову, прежде чем возразить. Эту манеру журналисты однажды назвали профессиональной эмпатией. Ева считала её способом выиграть секунду.

— Фотография сделана меньше чем за четыре часа до смерти, — ответил он. — Я хотел бы понять, что её вызвало.

— Дочь. Они помирились.

— Или он считал, что помирились. Вы заметили, как она говорит? «Впервые поговорили». Это может означать разное.

— Леонард, нам нужна не рецензия на человеческие чувства. Нам нужна причина, по которой человек встретился с кем-то ночью, а потом умер.

Он улыбнулся — осторожно, чтобы не выглядеть оскорблённым.

В медицинском заключении пока не было уверенности, за которую так любят цепляться люди. Никакого единственного знака, позволяющего назвать преступление разгаданным. Были несоответствия между положением тела и описанием случайного падения, следы позднего посещения кабинета и сведения о том, что Крамер собирался вечером увидеться с незнакомым для семьи человеком. Ева знала, как легко соединить эти разрозненные обстоятельства в законченный рассказ и как трудно потом заметить, что сам рассказ не стал доказательством.

Она уже переживала такое расследование. Пять лет назад искала пропавшую молодую женщину, которую все считали сбежавшей от скучного брака. Муж был убедителен, рассказывал о жене с нежностью и раздражением, называя её непостоянной. Ева поверила не ему, а общей готовности соседей согласиться, что исчезновение можно объяснить характером. Через три дня женщину нашли в лесопарке. Муж не был виновен, но эти три дня привели к утрате следов. Тогда Ева пообещала себе никогда больше не принимать психологический портрет за карту действий.

Леонард был иным — образованным, точным, с репутацией человека, который замечает то, чего не видят другие. Однако его склонность завершать мысль прежде, чем появятся все факты, раздражала Еву ещё со времени их первой совместной экспертизы. Он слушал свидетеля две минуты, а потом произносил: «Теперь я понимаю». Ей всегда хотелось спросить: «А сам свидетель понимает?»

Она решила дать ему фотографию «Розенхофа» не только из-за связи с Крамером. Хотела увидеть его непроизвольную реакцию. Не как доказательство, а как повод задать вопрос. Но когда он на секунду замолчал над снимком, она почувствовала неприятную ясность: врач, который умел находить травму в чужом поведении, сам столкнулся с прошлым, которое предпочитал описывать профессиональными терминами.

— Что сообщает медицинский эксперт?

— Причину смерти ещё уточняют. Есть признаки внешнего воздействия, которые нельзя объяснить обычным падением. На стекле в кабинете обнаружен чужой отпечаток. Возможно, он принадлежит сотруднику, но человек, который был там поздно вечером, в журнал посетителей не записался.

— И вы вызвали меня, потому что он улыбался?

— Я вызвала вас потому, что его дочь упомянула старый благотворительный фонд. И потому, что на одной фотографии с благотворительного вечера есть вы.

Фотография лежала под другими бумагами. Ева вытащила её медленно. Восемь мужчин и женщин стояли перед длинным столом с бокалами. Подпись на обороте: «Розенхоф. Осенний приём. 2010».

Леонард посмотрел на снимок и почувствовал давнее, почти забытое раздражение, как если бы кто-то назвал его старым именем, от которого он уже отказался.

— Я сотрудничал с учреждением ещё до пожара, — сказал он.

— После пожара?

— И после тоже. Меня привлекли к экспертизе.

— Дело закончилось обвинительным приговором сторожу. Его сын называл другого человека у запёртого выхода.

Леонард не ответил сразу.

— Дети в чрезвычайных обстоятельствах часто ошибаются в последовательности событий, — произнёс он наконец.

Ева пододвинула к нему фотографию.

— Это объяснение, — сказала она. — Я пока спрашиваю о фактах.

Вечером Ева попросила Феликса выяснить, кто работал в здании Филиппа после девяти часов. Список оказался длиннее, чем предполагалось: уборщица, техник по лифту, доставщик, охранник соседнего офиса. Преступление не любило литературной стройности. Реальные люди всё время проходили через чужие истории, не становясь персонажами драмы. Полицейским приходилось тщательно отделять их следы от тех, которые действительно объясняют смерть.

Охранник припомнил мужчину в строгом пальто, который поздно вечером поднялся на верхний этаж без записи в журнале. Он решил, что это гость хозяина: тот кивнул уверенно и прошёл через холл, не останавливаясь. Описание не давало надёжного опознания. Ева настояла, чтобы свидетелю не показывали фотографии подозреваемых прежде, чем будет проведена

установленная процедура. Она уже видела, как слишком ранняя демонстрация одного лица делает память человека удобнее, но не точнее.

Медицинский эксперт сообщил, что смерть Крамера нельзя достоверно объяснить одним случайным падением. Следы борьбы были минимальны, но обстоятельства указывали на физическое воздействие другого лица. Специалист не называл конкретный способ преступления, пока лаборатория не завершила работу. Леонард попытался спросить, как выглядело лицо погибшего. Ева оборвала вопрос. «Я не хочу, чтобы выражение лица снова стало убедительнее экспертизы», — сказала она. Леонард ничего не ответил. Впервые возразить было нечего.

На фотографии Мартин Бреннер улыбался. Леонард помнил его молодым и неуязвимым, человеком, который мог войти в комнату и мгновенно убедить всех, что у происходящего существует благородная причина. Теперь Мартин стоял в верхней строке телефонных контактов погибшего.

— В деле была экспертиза, — сказал Леонард.

— В деле была ваша экспертиза.

За окном проехал трамвай. По стеклу медленно ползла дождевая капля; разделившись на две, она оставила между собой сухую полосу. Леонард почему-то смотрел только на неё.

— Вы хотите, чтобы я взял самоотвод?

— Я хочу, чтобы вы честно ответили на вопрос: есть ли что-то в той истории, о чём мне лучше узнать от вас, а не от прокурора?

У него было достаточно времени сказать правду. Ева не подгоняла его. Он всё-таки произнёс:

— Насколько мне известно, никаких нераскрытых обстоятельств не осталось.

Это была его первая ложь в новом расследовании. Остальные ещё могли не случиться.

Глава 3. Шесть пропущенных звонков

В понедельник Эмма впервые за семь лет вошла в отцовскую квартиру без желания немедленно уйти. Ключ ей передал пожилой консьерж. Он хотел рассказать, как любил Филиппа весь дом, но, увидев её лицо, замолчал. В прихожей пахло полиролью, кофе и дорогим одеколоном. Ни один из этих запахов не имел отношения к смерти; именно поэтому они казались невыносимыми.

На письменном столе стояла фотография, где Эмме было десять. Она помнила тот день: отец повёз её кататься на коньках, купил горячий шоколад, обещал никогда не пропускать её дни рождения. Через год он пропустил первый, ещё через год стал присылать секретаршу с подарком. На фотографии человек, которому она верила, обнимал девочку, не знавшую, как скоро её доверие окажется тяжёлым для обоих.

На лежавшем в ящике планшете сохранилась синхронизированная история шести исходящих вызовов на номер без имени. Последние три были сделаны в 21:12, 21:17 и 21:23; ни на один не ответили. Филипп звонил так настойчиво только в одном случае — когда понимал, что теряет контроль. Эмма сфотографировала экран и позвонила инспектору Фельд. Пока ждала ответа, на её телефон пришло сообщение с неизвестного номера: «Ваш отец собирался поступить правильно. Простите, что он опоздал».

Ева попросила ничего не удалять и не отвечать. Через час они сидели на кухне, где на блюде лежали два зелёных яблока. Эмма хотела показать полицейской тетрадь отца, но открыла её и поняла, что перед ней списки расходов и деловых встреч. Между датами мелькало одно название: «Розенхоф». Возле него стояло странное слово — «вернуть».

— Что возвращать? — спросила Ева.

— Не знаю. Деньги? Чью-то вещь? — Эмма засмеялась коротко и безрадостно. — Самое ужасное, что вчера я думала: у нас ещё есть время. Он хотел рассказать мне что-то страшное, а я попросила его не торопиться. Это было первое доброе решение, которое я приняла по отношению к нему за много лет.

— Оно не стало плохим из-за того, что он умер.

Эмма посмотрела на инспектора с недоверием. Ева не походила на человека, который произносит утешительные фразы. Её голос оставался деловым, а ладонь лежала поверх раскрытого блокнота, словно женщина боялась случайно закрыть услышанное.

В тот день Эмма осталась в квартире до вечера. Она открывала окна, словно воздух мог избавить комнаты от аккуратности отца, и по очереди рассматривала документы, от которых при жизни старалась держаться подальше. Среди отчётов о пожертвованиях обнаружились письма к ней, так и не отправленные. В одном Филипп спрашивал, можно ли приехать на её свадьбу. Эмма не была замужем и никогда не планировала свадьбу. Письмо относилось к периоду, когда он получал новости из третьих рук и постоянно ошибался в подробностях. В другом он поздравлял её с окончанием университета и обещал не мешать строить карьеру. И то и другое было написано красивым почерком человека, который не рисковал услышать отказ.

На кухне Эмма случайно нашла фарфоровую чашку с отколотым краем. Она помнила её из детства. Мать никогда не разрешала выбрасывать чашки только из-за скола: «Если вещь пригодна, ей можно пользоваться». Отец считал это бедностью мышления и покупал новые сервизы. Теперь чашка стояла среди дорогого фарфора, бережно обёрнутая тканью. Эмма не знала, был ли это знак раскаяния или просто бессмысленная привычка. Её тянуло придумать красивое объяснение, и она почти рассердилась на себя за это.

Позже она перечитала сообщение с неизвестного номера. Слова «простите, что он опоздал» могли означать сожаление, угрозу или признание. Если бы их прислал убийца, почему он просил прощения? Если бы друг, почему не назвал себя? Она вспомнила себя в одиннадцать

лет — в том возрасте она ещё верила, что взрослые говорят загадками потому, что владеют ответами. Сегодня загадки были всего лишь следами людей, которые не осмелились произнести имена вслух.

Эмма сложила неотправленные письма в отдельную коробку. Она не отдала их полиции: в них не содержалось ничего, относящегося к делу, и ей хотелось сохранить хоть что-то, на что не будет нанесена регистрационная наклейка. Потом позвонила Еве и уточнила, что готова предоставить телефон отца для полной проверки. Это решение стоило ей больше, чем участие в официальном опознании. Оно означало допустить чужих людей в последнюю частную часть его жизни.

У подъезда дежурила журналистка. За деревом напротив стоял высокий человек в тёмном пальто. При виде Евы он отвернулся, но Эмма успела разглядеть старый рубец у его подбородка. Человека она прежде не видела. Однако ей показалось, что он не следит, а ждёт, когда кто-нибудь наконец задаст ему правильный вопрос.

Позже, уже в управлении, Ева получила ответ о номере, на который звонил Крамер. Он принадлежал секретариату фонда Мартина Бреннера. Шесть вызовов, ни одного ответа. На другом конце знали, что Филипп не станет ждать до утра. Ева записала это, не приписывая пока никаких выводов. Возле записи поставила звёздочку. По дороге домой заметила пропущенное сообщение собственного сына: «Мам, всё хорошо, не звони поздно». Ей вдруг захотелось позвонить немедленно. Она не позвонила: сын просил обратного. Привычка уважать чужое молчание иногда была единственным, что оставалось от близости.

Глава 4. Вторая жизнь Ханны

Ханна Леман вымыла окна за два дня до прихода сына. В ноябрьской Вене это выглядело нелепо: мокрый снег быстро оставил на стекле следы, но Ханна не стала вытирать их снова. Она расставила стулья так, чтобы им не пришлось сидеть друг против друга, приготовила суп по рецепту матери и трижды меняла салфетки. Йонас не бывал в этой квартире восемь лет. Она представляла встречу сотни раз и всякий раз говорила в воображении слишком много.

Он пришёл в простой куртке, с пакетом апельсинов. Ханна хотела сказать, что он стал похож на отца, но воздержалась. Йонас поставил апельсины на стол и остался стоять.

— Я не пришёл выяснять, кто был прав, — предупредил он.

— Я тоже.

Они ели молча. Потом Йонас спросил, почему она уволилась из «Розенхофа» после пожара, и Ханна впервые не произнесла заученной фразы об усталости. Она сказала: «Потому что я там солгала». Йонас перестал держать ложку. За годы их ссоры он научился злиться на мать за множество вещей, но этого не ожидал.

Она рассказала о журнале дежурств, о подписи, которую поставила не в тот час, и о мальчике, который кричал возле запертого прохода. Никаких оправданий не прозвучало. В конце Ханна достала конверт, присланный Ингой Ройтер. Внутри лежала копия старого листа с фамилиями и краткой припиской: «У нас ещё есть возможность перестать быть соучастниками».

— Почему теперь? — спросил Йонас.

— Потому что раньше я боялась потерять всё. А оказалось, что давно потеряла то, ради чего стоило жить.

Он не простил её в ту минуту. Не обнял, не назвал мамой. Но, уходя, попросил оставлять свет в прихожей: он придёт ещё раз, с женой и маленькой дочкой. Когда дверь закрылась, Ханна опустилась прямо на пол. Слезы пришли не от горя. Она плакала от внезапной возможности прожить остаток жизни, не придумывая каждый день новые объяснения старой лжи.

После ухода Йонаса Ханна не смогла уснуть. Она ходила по квартире и снимала с полок вещи, которые собиралась подарить внучке: деревянную птицу, серебряную ложку, свитер, связанный ещё прошлой зимой. Ей никогда не показывали девочку, и она почти боялась представить её лицо. Йонас говорил, что у дочери карие глаза, как у покойного деда. Ханна хотела спросить о каждом слове, но решила не торопить сына. Он долго жил без неё; её внезапное желание знать всё не давало ей на это права.

В спальне стояла коробка с вещами из «Розенхофа». Ханна когда-то забрала оттуда несколько игрушек, потому что не хотела, чтобы их выбросили после пожара. Маленький зелёный медведь был обожжён по лапе. Официально такие предметы не считались уликами и возвращались работникам после закрытия дела. Ханна годами держала медведя подальше от глаз, но ни разу не смогла выбросить. Теперь она взяла его и положила в пакет вместе с письмом Инги. Не для внучки. Для Томаса, если когда-нибудь он захочет забрать вещь сестры.

Перед тем как писать заявление, она сверила имена детей по выцветшей газетной вырезке. Из пяти имён два она не смогла сразу прочесть без очков. Эта случайная трудность стала страшнее воспоминаний о самом пожаре: дети постепенно исчезали даже из её памяти. Она решила записать о каждом что-то хорошее. Лена любила смешивать краски, Йоханна ела яблоки с солью, Пауль боялся больших собак, Лукас строил бумажные корабли, Амелия умела успокоить малышей, когда за стеной гремела гроза.

Она долго сидела над листом. Впервые обнаружила, что в ней сохранилось не только чувство вины, но и настоящая любовь к тем, кого она не защитила. Любовь ничего не оправдывала. Однако, возможно, именно она мешала совсем забыть правду. Она понимала: следующая попытка заговорить с фондом будет опасной. Но решение уже было принято.

Утром она позвонила нотариусу, записалась на встречу и начала составлять заявление для прокурора. Писала медленно, без красивых слов: «Я внесла ложные сведения в журнал. Это было сделано по просьбе господина Бреннера. Я знала, что боковой выход был закрыт». Вечером позвонил мужчина, представившийся помощником фонда. Сказал, что Мартин хочет поговорить конфиденциально и решить вопрос добровольной компенсации пострадавшим. Ханна ответила, что не будет больше заключать тайных соглашений. Мужчина сказал: «Тогда хотя бы выслушайте, что мы готовы признать сами».

Когда Ханна готовилась встретить человека из фонда, она достала простую тёмную блузку, в которой ходила на работу много лет назад. Потом передумала и надела домашний свитер. Ей больше не хотелось выглядеть достойным сотрудником. Если разговор действительно должен был помочь восстановить правду, собеседнику придётся выслушать её такой, какая она была — уставшей, испуганной женщиной, которая когда-то поставила свою подпись под ложью.

Перед визитом она позвонила подруге, работавшей в том же центре. Та попросила ничего не рассказывать полиции: «Зачем опять вскрывать старое? Детей не вернуть». Ханна ответила, что именно поэтому необходимо перестать использовать их смерть как удобную формулу. Подруга заплакала и повесила трубку. Ханна долго смотрела на телефон. Она не ожидала, что после решения говорить правда станет лёгкой. Напротив, каждый человек, к которому она обращалась, превращался в новое напоминание о потерянных годах.

На столе она оставила два документа. Первый — признание, адресованное прокуратуре. Второй — письмо Йонасу, в котором писала, что любит его и не хочет делать из любви оправдание. После её смерти нашли только второе. Сын прочитал его в присутствии Евы и попросил не включать текст в материалы, если в этом нет необходимости. Инспектор согласилась. Некоторые слова способны показать судьбу свидетеля, но не обязаны становиться частью уголовного дела, если не имеют к нему доказательственного отношения.

Ева Фельд узнала о смерти Ханны на следующий день. Дверь квартиры была заперта, признаков грубого проникновения не имелось. На кухне стояли две чашки, одна тщательно вымытая. Соседка слышала, как в половине девятого Ханна смеялась — громко, непривычно счастливо. Соседка решила, что вернулся сын. Но Йонас был в это время на работе, что подтверждали коллеги.

В ящике письменного стола остался чистый конверт с адресом прокуратуры. Самого заявления не нашли. Подоконник был влажным, за окном шёл мокрый снег. Ева долго смотрела на апельсины, собранные в вазу. Два успели покрыться едва заметными вмятинами от пальцев.

— Она ждала, что всё изменится, — сказал прибывший Йонас. — Вы понимаете? Впервые поверила.

Ева не стала обещать ему справедливости. Справедливость существовала не в форме обещания, а в форме ежедневной работы, в которой слишком много возможностей ошибиться. Она только попросила рассказать об их последнем разговоре до мельчайшей подробности. Йонас говорил долго. Когда произнёс имя Бреннера, инспектор не опустила глаз в блокнот: ей было важно запомнить, как человек произносит имя, которое до сих пор не боялся называть.

Глава 5. Профессиональный портрет

Леонард Вайс любил лекционный зал в Институте судебной психологии за возможность закончить любую мысль раньше, чем она будет оспорена. Слушатели не спорили с человеком, чьё имя стояло на обложках учебников. Они записывали его слова, иногда улыбались, иногда восхищённо переглядывались. Он понимал, как опасно привыкать к такому порядку вещей, и всё же привык.

В тот день занятие прервала Ева. Она ждала в коридоре, держа в руках пакет с двумя фотографиями. Леонард заметил различие ещё до того, как узнал имена: на обеих снимках лица людей, вскоре найденных мёртвыми, были расслаблены, как у тех, кто наконец избавился от тяжёлой ноши.

— Двое примирились с детьми, — сказал он. — Слишком явная повторяемость.

— Общая повторяемость у них пока другая. Оба работали с одним фондом в две тысячи десятом.

— Вы не доверяете психологии?

— Я не доверяю объяснению, которое нельзя проверить.

Он разложил фотографии на столике у окна. На первой Филипп наклонился к дочери, на второй Ханна держала руку на плече сына. Леонард предложил осторожную гипотезу: преступник мог пережить травматическую утрату во время семейного праздника и теперь разрушал чужие примирения, будто восстанавливая справедливость. Он говорил уверенно, хотя не имел ни одного факта о детстве предполагаемого убийцы. Ева слушала, не прерывая. Когда он закончил, она положила рядом протокол осмотра квартиры Ханны.

— Признание исчезло. Не ценности, не деньги. Бумага, которую она собиралась отнести в прокуратуру.

— Психологический мотив не исключает практического.

— Не исключает, — согласилась Ева. — Поэтому проверим практический раньше.

Через два часа журналист Маркус Рот позвонил Леонарду. Он хотел комментарий для вечернего сайта. Эксперт сначала отказался, затем произнёс несколько фраз о «ритуализированном разрушении счастливого момента». В тексте появилась строка, которой он не говорил: «В Вене орудует Коллекционер счастья». Леонард позвонил журналисту с требованием убрать цитату. Маркус ответил, что заголовок уже разошёлся по лентам. «Людам нужно понимать, чего бояться». Леонард внезапно понял, что его осторожная гипотеза превратилась в зрелище, и не мог решить, больше ли его пугает искажение слов или тайное удовольствие от того, что о нём снова говорят.

На следующее утро Леонард получил письмо от студента с просьбой прокомментировать статью Маркуса. Студент восхищался «изящной моделью» преступника, который будто бы разрушает радость ради эстетического завершения чужой истории. Леонард прочитал письмо дважды. Модель действительно выглядела изящной. Ей не хватало только одного — проверенных фактов.

Он открыл конспекты своих лекций и наткнулся на собственную фразу: «Чем прекраснее объяснение, тем внимательнее следует искать исключения». Эти слова давно стали частью его публичного образа. На конференциях их цитировали, иногда с его именем, иногда без него. Теперь он понял, как легко произносить разумные мысли и не применять их в единственный момент, когда они могут повредить твоей гордости.

Ева прислала ему список обычных вопросов для свидетелей: кто назначил встречу, кто имел доступ к помещениям, какие документы исчезли, почему время смерти расходится с последними сообщениями. Никаких воспоминаний о счастливом детстве преступника. Леонард сначала почувствовал скуку, затем стыд. За каждой строчкой стояла работа, от которой

невозможно уйти в красивую теорию. Он составил два отдельных листа — «известно» и «предполагаю» — и с удивлением увидел, насколько короче первый.

После обеда он снова связался с Маркусом. Потребовал исправить приписанную цитату. Журналист сказал, что уберёт прямую речь, но прозвище останется: оно уже стало общим названием серии. Леонард спросил, представляет ли Маркус, как родственники погибших слышат это словосочетание. Тот замялся и ответил, что его обязанность — интересоваться аудиторией. «Интерес — не то же самое, что понимание», — сказал Леонард и прекратил разговор. Он был доволен собственной фразой. Лишь позднее заметил, что снова спрятался в удачный афоризм вместо простого требования напечатать опровержение.

На следующий вечер Мия пришла за книгами. Дочь стояла перед его полками и выбирала тонкие томики, как человек на распродаже чужих вещей. Она работала в редакции культурного раздела и не любила, когда отец называл это временным занятием.

— Ты снова в новостях, — сказала она.

— Я не давал интервью.

— Ты дал людям удобную историю. Им этого достаточно.

Леонард хотел возразить, что дочь всегда была несправедлива к нему. Но увидел у неё в руках книгу с его дарственной надписью, сделанной на её шестнадцатилетие: «Мии, которая всегда знает, что правильно». Тогда он гордился точностью формулировки. Сейчас впервые заметил в ней жестокость: маленький ребёнок, на которого возложили обязанность быть правым.

— Я пытаюсь найти человека, который убил двух людей, — сказал он мягче.

— Попробуй не забыть, что это были люди, прежде чем станут твоей теорией.

Она ушла, не хлопнув дверью. Леонард остался в комнате, где всё было расставлено по порядку, и впервые за вечер почувствовал себя не главным действующим лицом истории, а человеком, от которого ускользает её смысл.

Глава 6. Дом, который закрыли

Бывший центр «Розенхоф» стоял на окраине Вены, за металлической оградой, которой никто не красил с тех пор, как учреждение закрыли. Земля заросла жёсткой травой. На фасаде ещё различались следы снятых букв, а в одном из окон третьего этажа висел голубой кусок ткани. При каждом порыве ветра он двигался, будто кто-то изнутри пытался подать знак.

Ева приехала с молодым следователем Феликсом Грюнером. Леонард ждал у ворот и держал зонт, которым не пользовался. Двое сотрудников охраны открыли замок и сообщили, что часть помещений давно передана складу. Леонард помнил это место действующим, чистым и неправдоподобно уютным. Он помнил рекламные листовки: здесь трудным подросткам обещали безопасный дом. Теперь каждый разбитый подоконник словно подчёркивал слово «обещали».

По официальному заключению, пожар начался на кухне во время благотворительного вечера. Пятеро детей погибли от дыма в коридоре восточного крыла. Сторожа Якуба Новака признали виновным в нарушении правил обхода и халатности. Через четыре года он умер в больнице при исправительном учреждении. Его двенадцатилетний сын Томас утверждал, что видел сотрудника администрации возле запертой боковой двери; комиссия сочла рассказ ненадёжным.

— Кто написал эту формулировку? — спросила Ева, остановившись перед дверью, которую давно сняли с петель.

— Комиссия, — ответил Леонард.

— Комиссия сослалась на вашу экспертизу. Я спрашиваю, кто предложил слова «сформированное воспоминание».

— Я. Это термин, который тогда соответствовал моей оценке.

За оградой «Розенхофа» начиналась короткая аллея каштанов. Ева помнила старую газетную фотографию: в день открытия центра здесь стояли дети, каждый держал в руках воздушный шар. Газета называла учреждение маленькой победой города над равнодушием. Ева подумала, что самые опасные решения часто совершаются не в зданиях, которым с самого начала не доверяют, а там, куда люди входят с облегчением. Родители, которых никто не спрашивал, могли ли они забрать детей домой; воспитатели, боявшиеся увольнения; благотворители, уверенные, что деньги делают их добрыми, — все они участвовали в системе, которую невозможно было проверить одной красивой фотографией.

Феликс обнаружил в комнате охраны старый журнал обходов. Большинство страниц содержали одинаковые записи, сделанные будто под копирку. В день пожара фамилия Якуба стояла в строке, где требовалось подтвердить свободный проход. Но чернила отличались от соседних записей. Эксперту предстояло исследовать их отдельно. Ева предупредила Феликса не приписывать разнице слишком большого смысла: разные ручки бывают в каждой канцелярии. Однако почему-то именно эта незначительная подробность заставила её представить ночного сторожа, который подписывает бумагу, уверенный, что в дверях всё работает.

Леонард поднялся в пустую комнату на втором этаже. Там сохранились следы подростковых плакатов. Один угол стены был светлее: здесь когда-то висело зеркало. В таком же помещении он разговаривал с Томасом после пожара. Мальчик сидел слишком прямо, будто боялся лишним движением снова получить замечание. Тогда Леонард счёл это признаком навязчивой выдумки; теперь подумал, что взрослые упорно требовали от пострадавшего ребёнка уверенности, какой сами не обладали.

Он вернулся в коридор и услышал, как Ева разговаривает с Феликсом: «Нам нужно найти не самое удобное объяснение, а проверяемое». Это прозвучало без упрёка, не ему, но Леонард

всё равно почувствовал, как внутри сжалось. Он много лет учил студентов именно этому. Просто забыл применить к собственному прошлому.

Ева потрогала след старого крепления. На металле сохранилась потёртость — там, где прежде стояла фиксирующая пластина. Современный замок не объяснял, как дверь работала в две тысячи десятом; требовались документы о ремонте. Но уже было ясно: спор шёл не о том, могла ли дверь закрыться. Спор шёл о том, кто распорядился сделать её недоступной.

В коридоре Леонард вдруг почувствовал запах жжёного пластика. Ничего не горело. Память возвращала не события, а атмосферу, в которой он когда-то счёл лёгким подписать несколько страниц. Прокурор торопил экспертизу, родители требовали виновного, руководство фонда предлагало оплатить независимую помощь пострадавшим. Леонард и сам тогда считал себя спасителем мальчика: освободить Томаса от навязчивой ложной картинки казалось ему добрым делом.

— Вы действительно не помните сомнений? — спросила Ева.

— У каждого эксперта они есть.

— Тогда мне нужны ваши рабочие записи, не итоговый документ.

Он обещал поискать. По пути к автомобилю Ева остановилась у низкой стены, на которой кто-то давно нарисовал мелом круг с пятью точками. Дождь не смыл рисунок целиком: пигмент въелся в шероховатую штукатурку. Ева спросила, не были ли эти точки каким-нибудь детским знаком. Леонард не знал. Позже выяснится, что пятеро детей отмечали так общий стол, за которым каждый имел своё место. И ни один не должен был оставаться за дверью.

Глава 7. Человек с реставрационной мастерской

Томас Новак реставрировал стулья, на которые больше никто не хотел садиться. В его мастерской пахло древесной пылью и клеем, пахло медленным трудом, который невозможно ускорить приказом. На стене висели часы без стекла. Когда Ева и Феликс вошли, Томас укладывал тонкую полоску шпона на спинку кресла.

— Я знаю, зачем вы пришли, — сказал он, даже не подняв головы. — Кто-то наконец прочитал письма.

Он достал из металлического шкафа папку и положил на верстак. Внутри лежали копии писем Крамеру, Леман и Рихтеру. Томас не скрывал угроз, но попросил читать их целиком. «Если вы не расскажете правду сами, я отдам прессе всё, что знаю». Ни одно письмо не обещало расправы. Впрочем, у полиции было достаточно оснований рассматривать автора как подозреваемого.

— Почему вы были у дома Крамера в день смерти? — спросила Ева.

— Хотел убедиться, что он получил письмо. Он вышел с дочерью из ресторана. Она смеялась. Он тоже. Я подумал, что у него всё получилось и я опять останусь человеком, который мешает другим жить.

— Вы подошли к нему?

— Нет. Я умею удерживаться от некоторых поступков. Поверьте, за шестнадцать лет научился.

В мастерской Томаса висел небольшой лист с расписанием: работа, заказчики, доставка, закупка материалов. Внизу карандашом было написано: «Позвонить адвокату насчёт дела отца». Ева заметила, что эта строка повторялась почти на всех листах календаря, даже когда формально не было никаких новостей. Упрямство Томаса выглядело не как черта характера, а как ежедневная работа, за которую ему никто не платил.

Он предложил показать письмо, отправленное Крамеру за неделю до смерти. Ева прочла его вслух. Там было обвинение, были горечь и отчаяние. Но было и неожиданное предложение: «Если ты придёшь и расскажешь, что видел, я помогу тебе сказать это публично без нападок». Томас объяснил, что несколько месяцев работал с адвокатом над обращением о пересмотре дела. Каждый новый свидетель мог изменить не только результат, но и то, как будут помнить его отца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.